

Роза ПОЛАНСКАЯ

БА

Р а с с к а з

Я стою под дверью кухни. В большую щель задувает летний ветер и ластится к босым ногам. Длинная железная ручка кажется недосягаемой. В коридоре — полумрак, и мне нравится наступать на отрезок света.

— Меня Ташуня любит больше тебя.

— Тю, да кто ты ей?

— Тюкает она! Я ее нянькала, а не ты. Сидишь, стара девица, в своем погребке и нос не кажешь.

На полоску света заползает муравей. Я тянусь и дергаю дверь. Обе «баушки» сидят за пустым столом и молчат, будто напроказничали.

— Ои, проснулась, ои, унуча, — оживает та, что «нянькала», и опирается полными загорелыми руками о стол, медленно поднимается, — а я к полдничку унучечке молочка погрею, вырастет Ташенька большущей, как папа.

Я залезаю на высокий табурет. Ба возится в холодильнике.

— Можно сегодня не буду, ба, — говорю ее спине.

— А я считать буду, — успокаивает ба, — это же быстро: раз, два, три — и всё! А я тебе тока на донушко налью. Погляди.

Молоко из «треугольника» льется в ковш с нарисованным грибочком. Я перевожу взгляд на ту, что «стара девица». Седые волосы ее сплетены в худющую длинную косичку.

— Ты тоже считай, — прошу ее.

Она молчит и улыбается. Ровный ряд белых зубов похож на жемчужины из пластмассовой зеленой шкатулки.

— У ба только два зуба осталось, потому что она конфеты ела, а в войну щеток не было, — решаю я, — а у тебя почему целые? — спрашиваю у «стары девицы».

Ба убирает ковшик с плиты, и спина ее начинает трястись от смеха, она садится, грудь ее колышется, вся она расплзается тестом и сверкает глазами на «стару девицу».

— Ои, не могу! Зубы целые! — покатывается она, оголяя два желтых зуба, торчащие сбоку.

Им обеим смешно, потому что не надо пить кипяченое молоко.

— Только давайте без «три на ниточке», — говорю и чувствую, как мой рот кривится, я пытаюсь не дышать. — И без «три на паутинке»! Чтобы быстренько.

Бабушка не отвечает и убирает пенку.

— А у нас в детстве пенка была заместо конфетки. Дрались с братьями за пенку-то. — Зубы бабушки оголяются — их можно нанизать на ниточку и сделать браслет.

Спать днем я не умею. Обвожу пальцем узоры на обоях. Мой палец ползет по зеленым стеблям и листьям. Где-то в занавеске жужжит запутавшаяся муха и замирает на мгновение, когда ветер взметает занавеску, будто фату, в зал. Фата на долю секунды скрывает от меня стеклянных животных в серванте. Звери смотрят глазками, похожими на капли глазурь, и просятся на ручки.

— Ба! — кричу я.

Ба прибегает сразу же, вытирает полные руки о заляпанный передник, пахнувший растительным маслом.

— Я только гляну — и все. Игратья не буду. Можно?

Ба со свистом отодвигает стекло серванта:

— Кого Ташенька хочет?

— Я, честно, не разобью теперь! Оленя.

Бабушка берет оленя, прихватив лису, белку и хрустальные кольца на стеклянном кубе кофейного цвета. Свадебные подарочные кольца деда клеил уже раза три. Белкины лапы ему спасти не удалось. Я сажусь и укладываю на одеяле зверей. В хрустальных кольцах они будут спать по очереди. Когда за ба закрывается дверь, я вытираю мокрую от поцелуя щеку — вдруг беззубость заразна?

— Если не съесть до конца, муж будет конопатым.

Я не знаю, чем плохи конопатые, но звучит страшно, и я доедаю последнюю ложку хлебного мякиша в борще. Мне тяжело встать и ходить, как будто я проглотила резиновый мяч.

Ба качает головой:

— Вот и как откормить дитя, када руки-ноги что спичечки! Перед людьми позорище — будто голодом морят, а сами разожрамшие ходют. Ка будто баба тебе не готовит ничё.

Я чувствую себя мячиком на ножках. Ну, тут ведь главное, что муж не будет конопатым.

Я горько реву в коридоре, потому что меня оставили одну. В большом зеркале у «второй меня» банты завязаны криво. Папа сказал, что я маму довела. А я просто просила сделать хвостики ровненько. Они теперь, конечно, едят торт в гостях, а ба говорит, что меня ветром унесет. Без торта теперь точно унесет. Вот и что тогда они делать будут? Зареванная «вторая я» поправляет белую ленту в волосах.

В квартире очень тихо и очень грустно, а в раскрытой форточке дети дребезжат трехколесными велосипедами. Я, конечно, умру от горя, чтобы все плакали. И я на всякий случай начинаю снова голосить.

— Ах ты ж моя унучечка, — слышу за входной дверью.

Ура, «старая девица» пришла на помощь. Замок проворачивается, и я кидаюсь к ней, чтобы по силе моих объятий можно было понять всю силу детского горя. Ее «погребок» — это квартира напротив. Пару лет назад она обменяла свою однушку в центре на двушку здесь, чтобы быть «вместе всем».

Мы идем в «погребок» и лепим фигурки из теста.

— Можно? — спрашиваю и отрываю кусочек сырого теста. Комок липнет к зубам и тяжело глотается. А я смотрю на бабушкины жемчужные зубы.

Потом сажусь на ковре в зале с зеленой шкатулкой для пуговиц и перебираю: стеклянная с розочкой внутри, перламутровая, как оладушек, оранжевая плоская с двумя дырками (кажется, со старого пальто), кусочек сережки с оторванным замком...

— Перебирает... — довольно повторяет бабушка в трубку, дергая вниз пружинистый провод, — такая умничка. А эти, зверюги, одну в коридоре оставили. — Бабушка задевает телефонным проводом стеклянную юбку и отставляет ее подальше. — А что та? Та на дачу с утра уехала. Неродная ж.

«Неродная» — это, наверное, очень плохое слово.

Ба задыхается и тяжело поднимается за мной по лестнице. Вообще-то мы живем на втором этаже, но у меня паника, и я бегу выше. Ба старается не отставать. В подъезде пахнет сыростью и кошками.

Ба хватается за перила и тяжело дышит:

— Ои, что скажу матери, ои, потравятся дети... Наташка! Сюды поди, говорю, помрешь же!

Я стою на лестничной площадке у верхней ступеньки и дрожу. Теперь меня точно поставят в угол.

— Траву йисть кто разрешил? Кто, говорю тебе?

— Ба, деда разрешил. — Я мну руками оборку платья.
— Ои парася твой деда, ои парася!

Мне говорят, что дед спит, просто очень крепко. Ему теперь всегда будут сниться сны. И все — только хорошие. Деда забрали в сказку, где Спящая красавица и всякие другие добрые люди. Я тоже хочу, чтобы мне всегда всякие сны снились.

В зеркале темного коридора «другая я» изображает взрослую тетку с микрофоном. Мне очень жаль, что у «другой меня» волосы черные и кучерявые, а не светленькие и гладенькие, как у моей куклы Наськи. Взрослые сидят на кухне, заперев дверь, и думают, что я сплю. А у них в коридоре взрослая тетка с массажкой-микрофоном. Только волосы у нее не как у красивой куклы, а как у Пугачевой.

— Ну дышать тута нечем будет, — тихонько говорит «старая девица». — Наташкин брат с семьей вернется в зиму. Как всем разместить-ся? Да и деда ее нет уже.

— Мам, ну ты чего? — возмущается мамин голос. — Ба ж тут с нами всю жизнь. И Наташку, и брата ее в зубах выносила.

— Ой, ей хорошо там будет! У старшего сына пожила, пусть теперь к младшему едет — у того вон целый выводок девок народился.

— Жень, ну скажи! — просит мама.

Жень — это папа, я знаю, потому что уже очень большая. А подружка Лизка не знает, как моего папу зовут, потому что ей только три, а мне скоро четыре. Мама говорит, что Лизка еще сопливая, — наверное, потому, что у нее все время сопли и она их языком слизывает.

Я прислушиваюсь — папа молчит. Я дергаю железные зубчики массажки.

— А ты помнишь, как я тебе рассказывал, что зашел в комнату — был еще праздник какой-то, застолье. А я, трехлетний, говорю на нее: «Мама», — первый раз сказал ей это. И как они все — все! И она тоже! — смеялись. Я же ни разу ее матерью потом не назвал. Я ж ее даже сейчас никак не зову.

Взгляд «другой меня» мне кажется очень взрослым — совсем как у Пугачевой.

— Женья, я знаю! Я помню. Но она — бабушка, понимаешь? И Наташке, и Володьке ба-буш-ка!

«Бабушка — это же “старая девица”, — думаю я. — А она — ба».

Бабушка поддакивает папе:

— Ну неродная ж.

Неродная — это как уродливая, только страшнее?

Ба собирает сумку и кладет в нее плюшевого мишку, которого нашла во дворе. Его пинали мальчишки, и ба забрала медведя и постирала. Шерсть у него какая-то слипшаяся.

— А ты с мишкой в другом городе будешь играть? — Я хожу за ба по пятам и держусь за завязки ее халата. — Но, но! Лошадка!

Ба не отвечает, трет высохшую шерсть мишки. Два зуба у нее желтые, как у Бабы-яги на картинке в книжке. Бабушка крутится и все время отворачивается от меня.

— Очень непослушная лошадка, — вздыхаю я. — Ба, а ты других девочек — моих двоюродных сестричек — будешь любить так же сильно, как меня? Или чуть-чуть послабше? — Я выпускаю из рук завязку и показываю пальцами, на сколько «слабше».

Ба садится на диван и прижимает меня к себе. Пахнет подсолнечным маслом, и на щеке очень неприятно мокреет пятно от поцелуя. Мне хочется поскорее вытереть щеку, чтобы не заразиться.

Мне сказали, что в другом городе зимой ба попала в сказку о Спящей красавице и уснула.

Я прилепляю ладони к стеклу серванта и пытаюсь его отодвинуть. Стекло скрипит под пальцами, и на нем остаются следы. Почти все звери переломаны мною в играх.

— Мама! — зову я. — А где стеклянные колечки деда и ба?

Но взрослые не обращают на меня внимания и разговаривают на диване. Бабушка беззубо шамкает. Жемчужные зубы она оставила в стакане у телефона, а я их спрятала. Потому что она меня обманула, а врать — нехорошо. Я их, конечно, отдам, до того как вернется папа.

— Што ты пееживаишшь, — шепелявит бабушка, — ну неродная шш была.

«Неродная» — это точно какая-то болезнь, от которой засыпают. Я на всякий случай убегаю в ванную и проверяю: все ли в порядке со щекой и зубами. «Другая я» смотрит испуганными глазами. Мне почему-то очень больно, но не в щеке, а в груди, и я начинаю плакать, судорожно хватая воздух раскрытым ртом.

«Ба просто уснула, чтобы видеть во сне меня», — решаю я, вытирая лицо.

Когда я выхожу из ванной, то делаю вид, что играюсь в «пьяного клоуна».

— Разбаловалась, — говорю сама про себя взрослым.